

*«Лето в Бадене»»
и другие сочинения*



НОВОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

Леонид Цыпкин

«ЛЕТО В БАДЕНЕ»
И
ДРУГИЕ СОЧИНЕНИЯ

Роман, повести, рассказы



НОВОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

МОСКВА • 2026

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Ц96

Цыпкин, Л.

Ц96 «Лето в Бадене» и другие сочинения: Роман, повести, рассказы / Леонид Цыпкин; предисловие М. Цыпкина; послесловие С. Зонтаг. — 3-е изд. — М.: Новое литературное обозрение, 2026. — 672 с.: ил.

ISBN 978-5-4448-2770-3

Первое издание романа Леонида Цыпкина, вышедшее в переводе на английский язык, стало на Западе сенсацией. «Затерянный шедевр», «грандиозная вежа русской литературы XX века», «самое неизвестное гениальное произведение, напечатанное в Америке за последние 50 лет» — таковы отзывы из посыпавшихся вслед рецензий. Именно о нем Сюзан Зонтаг написала так: «Этот роман я, ничуть не усомнившись, включила бы в число самых выдающихся, возвышенных и оригинальных достижений века, полного литературы и литературности — в самом широком смысле этого определения». В завораживающем ритме романа сплелись путешествие рассказчика из Москвы 1970-х годов в Ленинград и путешествие Достоевского с женой Анной Григорьевной из Петербурга в Европу в 1867 году, вымысел в нем трудно отличить от реальности. В книгу также вошли повести и рассказы автора. Леонид Цыпкин (1926–1982) — писатель, врач-патологоанатом.

УДК 821.161.1.09

ББК 83.3(2Рос=Рус)6

На обложке: Портрет Ф. Достоевского по мотивам работы Ф. Валлоттона. Фрагмент гравюры на дереве «Покер». Ф. Валлоттон. 1896. Художественный музей Кливленда / The Cleveland Museum of Art.

SUMMER IN BADEN-BADEN

Copyright © 1981, Leonid Tsyppkin. All rights reserved

© А. Устинов, авториз. пер. с англ. статьи С. Зонтаг, 2003, 2021; 2026

© Н. Агапова, дизайн обложки, 2026

© ООО «Новое литературное обозрение», 2021; 2026

Содержание

<i>Михаил Цыпкин. Об отце.</i>	5
Лето в Бадене. Роман.	25
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ	
Мост через Нерочь	207
Норартакир	322
Пешком до метро	432
Запах жженных листьев	444
Третий вопрос	482
Похищение сабинянки.	498
Праздник, который всегда со мной	502
Последние километры	508
Десять минут ожидания	513
Попутчик.	524
Качели.	535
Сделка.	541
Вверх по реке.	561
Ваше здоровье!.	573
Тараканы	588
Ave Maria!	613
Из записок патологоанатома	633
Проводы	643
Шехерезада	647
<i>Сюзан Зонтаг. Любить Достоевского.</i>	654

Об отце

Мой отец был печатающимся писателем одну неделю: номер эмигрантского еженедельника «Новая газета» с первыми страницами его романа «Лето в Бадене» вышел 13 марта 1982 года в Нью-Йорке, а 20 марта отец в одноминутье умер в Москве — в свой пятьдесят шестой день рождения. Сюжетная линия его жизни несложна: она не так уж была богата событиями и достаточно типична для человека его круга и поколения.

Леонид Борисович Цыпкин родился в 1926 году в Минске в потомственной врачебной еврейской семье. Когда ему было лет десять, отец хотел стать астрономом, потому что это «неответственная работа» — отголосок взрослых страхов в 30-е годы, в начале которых мой дед, известный хирург-ортопед Борис Наумович Цыпкин, был арестован. Времена еще были сравнительно мягкие, до-ежовские, и когда дед прыгнул в пролет лестницы в здании минского НКВД и повредил позвоночник, то по заступничеству коллег (в особенности

известного минского доктора Моисея Наумовича Шапиро, который в самые страшные годы не боялся — и умел — помогать попавшим в беду), его выпустили и больше не трогали, хотя его брат и две сестры были арестованы и погибли. Каким-то чудом дед не остался инвалидом и продолжал оперировать до своей смерти в 1961 году. Отец не любил об этом рассказывать, вроде бы даже и не помнил (я эту историю узнал от бабушки), но эпизод возвращения деда из тюрьмы промелькнул в повести «Мост через Нерочь» как предвестие его болезни и смерти тридцать лет спустя.

История нашей семьи важна не столько потому, что отец черпал из нее сюжеты и образы, сколько потому, что отец, человек сугубо частный, «камерный», ощущал мир через семью и защищался от этого недружелюбного мира — семьей. События, разрушившие эту когда-то большую семью, обрубившие семейные корни, положены в основание двух повестей — «Мост через Нерочь» и «Норартакир». В 1941 году семью согнала с насиженного места война: чудом выскользнули они из уже замыкавшегося немецкого кольца вокруг Минска. Не сумевшие уйти сестра деда, его мать и два маленьких племянника были убиты в гетто. Почти сорок лет спустя моя эмиграция завершила это разрушение.

В эвакуации в Уфе отец, которому тогда не было и семнадцати лет, поступил в медицинский институт; в студенческой среде развился его интерес к художественной литературе, и он, по-видимому, сделал первые попытки писать. Попытки были неудачные, и до 60-х годов отец писал уже только научные статьи. А у него была вполне успешная (в пределах возможного для безусловно беспартийного и безысходно еврейского интеллигента) карьера: в сорок два года отец был доктор медицинских наук, автор десятков научных статей, сотрудник научно-исследовательского

института. К тому же большая часть его жизни прошла в Москве. В 1948 году он женился на Наталье Иосифовне Мичниковой; в 1950 году родился единственный сын.

Не все было гладко. Работы во времена борьбы с «космополитизмом» не было, и отца вместе с другими безработными врачами-евреями в конце концов пригрел главврач московской областной психиатрической больницы имени Яковенко Владимир Васильевич Ченцов. Не только взял на работу, что было небезопасно, но и, вероятно, — а это уж было очень опасно — спас от ареста: нажал на нужную кнопку в местном отделе МГБ, и дело с доносами на отца, притащившееся за ним аж в деревню Мещерское, куда-то пропало. А тут и Сталин умер, но отец в Москву не вернулся до 1957 года.

Отец, навидавшись бед, ценил внешне благополучные обстоятельства своей жизни — семью, кооперативную квартиру в центре Москвы, летние круизы по рекам. Он любил медицину и свою мрачноватую врачебную специальность — отец был патологоанатомом — и полушутливым, что, проведя столько времени в обществе мертвецов, он стал отчасти сродни шекспировским могильщикам. В 1964 году он написал:

МОЯ ПРОФЕССИЯ

Любители чистой поэзии,
Поклонники Венеры Милосской
и прочих муз и богинь,
а также все слабонервные,
отойдите в сторону:
я буду говорить о своей профессии.
Я патологоанатом,
а, попросту говоря, трупорез.
Передо мною возвышаются горы
человеческого мяса,

красного, синего, серого, розового,
напоминая фламандские натюрморты.
Когда я вижу классический инфаркт сердца,
Я не удерживаюсь и восклицаю:
«Какая красота!»
Когда люди спят, тоскуют или смеются,
я могу точно сказать,
что у них происходит в печени.
Для меня шагреновая кожа
не символ и не абстракция,
а отложение извести в сосудах.
Никто лучше меня не знает,
что жизнь висит на волоске
и что смерть неизбежна.
Именно поэтому я начал писать стихи.

Стихи отец начал писать в начале 60-х годов, а до этого мечтал уйти из мединститута на филологический факультет, позднее всерьез думал поступать на вечернее отделение ВГИКа. Оба раза практические соображения, чувство долга перед семьей возобладали. Да я и вовсе не представляю себе его советским литературоведом или киношником: его почти болезненная (по советским понятиям) брезгливость ко лжи в даже самых малых дозах, халтуре и грязи извергла бы его из этой среды. Но его мечта о самовыражении была неистребима.

В доме преклонялись перед русской литературой. Возможно, что тут частично сказалось влияние тетки моего отца — литературоведа Лидии Моисеевны Поляк — и ее мужа, крупного лингвиста Рубена Ивановича Аванесова, в семье которых отец проводил много времени в конце 40-х годов. Я помню, как менялись литературные страсти моего еще совсем молодого отца: от поклонения перед Толстым он перешел к пожизненной вовлеченности в творчество и личность Достоевского. В Достоевском — и писателе,

и личности — отец находил то, чего ему не хватало в медицине: бездну «проклятых» вопросов. Можно ли жить без Бога и как быть, если нет веры? Есть ли связь между психопатологией личности и творческим началом? (Отец страдал от периодических депрессий.) Где корни антисемитизма?

У меня из отцовской библиотеки осталось старое (первое послесталинское) собрание сочинений Достоевского. По нему видно (особенно по томам с «Братьями Карамазовыми» и «Бесами»), что с ним буквально работали — при том, что отец был фанатично аккуратным человеком: его много потрудившийся фотоаппарат «Зоркий-2С» выпуска 1954 года до сих пор как новенький. К повести из жизни Достоевского «Лето в Бадене» отец шел не один год: изучал воспоминания современников, много времени провел над дневниками Анны Григорьевны Достоевской, находил места (Достоевский почти всегда описывал реальные дома и улицы), где происходило действие его произведений. Несколько лет исследований ушло на создание фотоальбома «По местам героев Достоевского», в котором фотографии сопровождались соответствующими цитатами. Отец подарил фотоальбом музею Достоевского в Ленинграде и выступил там с лекцией. Но это уже было в конце его жизни.

Некоторые стихотворения были, наверно, удачными; примечательнее всего для меня в них упорный поиск подлинного чувства. В 1965 году отец должен был идти показывать свои стихи А.Д. Синявскому, но того как раз арестовали. Получилось как бы предупреждение: наступают другие времена, сиди, не высовывайся! Отец не склонен был много говорить и даже думать о политике; у нас в семье было принято без всяких споров, что советский режим — это воплощенное Зло. Отец ощущал политические перемены скорее своим художественным чутьем: через несколько

дней после падения Хрущева (которого отец, несмотря ни на что, уважал за освобождение узников ГУЛАГа и за публикацию Солженицына, портрет которого тоже появился над рабочим столиком отца и так там и остался до его смерти) он написал:

КРИВЫМ ПЕРЕУЛКОМ

Я иду кривым переулком.
 Надо мной фонари и звезды.
 Днем обитатели переуллка
 играют в футбол,
 забивают козла,
 развешивают белье,
 ругаются матом.
 Я торопливо прохожу сквозь строй
 сверлящих взглядов
 и чувствую себя, словно зимой
 пятьдесят третьего.
 А сейчас тишина.
 Все спят, и только
 в редких светящихся окнах
 фикусы и угол гардероба.
 Обитатели переуллка спят:
 им завтра рано на работу.
 Я слышу, как они тяжело дышат
 (наверно, и я во сне так же дышу).
 И чья-то свесившаяся рука касается пола.
 И кто-то вздыхает.
 Хотя на дверях засовы и замки,
 все — настежь.
 Можно закрыть воду,
 сменить правительство.
 Все останется безнаказанным:
 спящие беззащитны.
 Я иду не спеша.
 Мне незачем торопиться.

Надо мной только фонари и звезды.
Что мешает нам стать друзьями?

В середине 60-х годов отец познакомился и почтительно подружился с соседкой по новому дому — пианисткой Марией Вениаминовной Юдиной, которую раньше он знал как знаменитую исполнительницу Бетховена, как крещеную еврейку, открыто исповедующую православие, не отказываясь от своего еврейства. Видел он ее до личного знакомства один раз — на похоронах Б.Л. Пастернака. Эта дружба означала для отца, в первую очередь, прикосновение к высокой традиции русской культуры, люди которой чувствовали себя дома в культуре европейской. Затем, православие Юдиной интересовало отца: как довольно многие интеллигентные евреи в Москве, он начал в это время искать Бога и, не получив никакого иудаистского образования, думал об этих исканиях в рамках православия, религии, глубоко связанной с культурой, которую отец почитал для себя родной, однако сам никогда не помышлял о крещении, считая, что такой шаг будет приспособленчеством, хотя бы даже и самым рафинированным. А еще был иногда вопиющий разрыв между высокими устремлениями Юдиной и ее временами весьма нелегким в повседневной жизни нравом — этот разрыв интересовал отца, увы, далеко не с чисто исследовательской точки зрения, в быту он часто бывал вовсе не таким человеком, каким хотел бы быть, и глубоко страдал от этого.

Дружба с Юдиной и ее смерть в 1970 году стали материалом для раннего рассказа отца «Ave Maria!». После многочисленных неудачных попыток напечатать стихи в конце 60-х годов отец почти перестал их писать; к тому же его силы уходили на завершение работы над докторской диссертацией. Получение более высокой научной степени и соответствующая прибавка к зарплате (отец был старшим

научным сотрудником Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук) давали возможность отцу не прирабатывать вечерами в больнице. (Отец считал постыдным, что сотрудники медицинских НИИ зарабатывали гораздо больше, чем больничные врачи, работу которых он считал в общем гораздо более осмысленной, и сам работал в НИИ только потому, что это лучше обеспечивало семью.) Как только диссертация была закончена, отец снова начал писать, но уже не стихи, а прозу.

Теперь-то я понимаю, что отец работал на износ. Каждый день, ровно без четверти восемь, он отправлялся на дальнюю (почти во Внуково) работу и возвращался ровно в шесть вечера. Обедал, дремал полчаса и садился писать если не рассказы, то научные статьи. На ночь мог выйти погулять. В выходные тоже писал, работал в профессорском зале «Ленинки» (там часто собирал материалы по Достоевскому), зимой по воскресеньям катался на лыжах в «Мичуринце», где у Дома ученых была лыжная база. Любил осень, зиму, солнечные времена года часто угнетали его. Обычно брал меня, школьника, потом уже и студента филфака МГУ, на эти лыжные прогулки, которые запомнились на всю жизнь, как и одно лето, которое отец провел почти целиком (в их институте работали с очень опасными вирусами, и поэтому полагался длинный отпуск) со мной, двенадцатилетним, на даче.

Мне не под силу, да и не к месту, разбирать достоинства и недостатки его прозы. Отец жаждал каждой встречи с белым листом бумаги, но писал нелегко, нередко мучился над каждым словом, бесконечно выправлял рукопись. Дело было в основной стилистической задаче: придать четкую форму его мысли, необычайно богатой, взвихривающейся и захватывающей поразительно широкие круги все

новых и новых ассоциаций, эту мысль не стреножив. Отсюда очень длинные, нередко на несколько страниц, предложения, «путешествующие» из Москвы в Курск через Хабаровск. Маршрут не самый короткий, но зато по дороге можно настолько больше увидеть!

Перечерканные рукописи отец обычно сам перепечатывал на старенькой, сияющей чистотой трофейной «Эрике» — как пел в те годы Галич, «Эрика» действительно брала «четыре копии», и большего «тиража» отцу и не понадобилось, так как он по редакциям не ходил и практически не пытался напечататься, и был прав, не тратя зря силы на это. Он не писал ничего острополитического — поэтому его проза и в самиздате бы особого успеха не имела; чем можно было удивить самиздатовскую читающую публику в годы, когда по рукам ходил «Архипелаг ГУЛАГ»! Да отец и не хотел давать свои вещи в самиздат: боялся «разговоров» с КГБ и остаться без работы. В мир же «позволенной» литературы ему ходу не было, и это связано как с обстоятельствами, так и с природой его литературного дарования.

Писательство было для отца самовыражением в самом прямом смысле слова: он не умел выдумывать с нуля положения и характеры, брал их из своей жизни, смотрел на них своими глазами, и главное для него было — честно разобратся в самом себе. И тут уж никак нельзя было обойти запретные темы, разве что если жить с закрытыми глазами и ушами (как многие из чувства самосохранения умудрялись). Можно ли было написать «Мост через Нерочь», позабыв об отставших от колонны заключенных, которых убежавший из Минска в июне 1941 года НКВД расстреливал прямо на обочине дороги, почти что на глазах у беженцев? А что бы осталось от «Норартакира» без вызревающего в трагедию автора вопроса еврейской эмиграции

на фоне арабо-израильской войны 1973 года? И где была бы душевная пружина «Лета в Бадене», если бы не крамольное (даже и по нынешним временам) подозрение автора, что Достоевский ненавидел евреев со страстью оттого, что видел в своем характере столь презируемые им у евреев черты? Отец отнюдь не стремился писать на запретные темы, просто он не мог осмысливать свою жизнь, не касаясь их. А тут еще доза формального эксперимента, и не-членство в литературской стае — в редакции ходить было и вправду незачем, да и опять же оттуда рукописи могли утечь на Лубянку. Один хороший журнальный редактор, которого отцу порекомендовали как надежного, черкнул на рукописи: «Прекрасный рассказ, но кто же его напечатает?» Весь «дух» его прозы, как сказал тот же редактор, был «не анти-советским» — а просто «не нашим».

В 1970-е годы очевидным выходом было бы напечататься на Западе, он манил отца, но последствия (в лучшем случае безработица, гэбэшные провокации и угрозы и в конце концов вынужденная эмиграция) отпугивали еще больше. Солженицынский «Бодался теленок с дубом», прочтенный отцом не позже 1977 года, оставил его в тяжелом настроении: цена свободы, которой Солженицын добивался в борьбе со всей навалившейся цекагэбэшной системой и за которую расплатился насильственной эмиграцией, показалась отцу недоступной. Круг прижизненных читателей отца остался очень узок: моя мать, я, пара моих филфаковских друзей, иногда кто-то из литературной среды, где отцу не удалось создать себе ни серьезных друзей, ни даже подпольного имени, а впоследствии — несколько знакомых среди «отказников». Здесь, конечно, виновата не только советская власть, но и характер отца: очень ранимый, гордый, он плохо переносил непонимание,

хотя доброжелательную профессиональную критику был готов выслушивать.

Начавши писать прозу в сорок с лишним лет, отец становился писателем в одиночестве и молчании. Он сам был своим основным критиком, и, несмотря на это, его мастерство росло шаг за шагом: от коротких, почти бессюжетных рассказов он перешел к более длинным, с более сложным сюжетом, оттуда шагнул к автобиографическим повестям («Мост через Нерочь» и «Норартакир»), а затем и к неавтобиографическому (хотя и частично основанному на документальных материалах) «Лету в Бадене».

К западной литературе девятнадцатого века отец был сравнительно равнодушен. Немногие новинки (для советской публики) западной литературы двадцатого века читал с большим интересом. К сожалению, многое забылось; помню, как он читал переводы «Чумы» и «Постороннего» Камю, «Самопознание Дзэно» Итало Свево. Очень важным для отца было знакомство с творчеством Франца Кафки. Отцу была тревожно близка основная тема творчества этого дважды изгоя — немецкоязычного писателя среди чехов, еврея в немецкой культуре — человека, преследуемого чем-то бесчувственным и бессмысленным, то ли государственной машиной, то ли роком. У отца была подспудная глубокая уверенность, что от сумы да от тюрьмы ему в конце концов не уберечься. Моя эмиграция в 1977 году быстро превратила его жизнь в кафкианский сюжет. В 1979 году отца «сократили» из института полиомиелита как не прошедшего переаттестацию, несмотря на двадцать два года безупречной работы в институте, около ста научных публикаций и т.д. Переаттестация часто использовалась в 1970-е годы для избавления от неудобных, в частности, евреев, в системе Академии медицинских наук, к которой принадлежал

Институт полиомиелита*. Отец, зная, что ему предстоит переаттестация, просил меня подождать — пару лет — с эмиграцией, чтобы он, уже переаттестованный, мог дотянуть до пенсии. Я ждать не стал. Увольнение было волчьим билетом — ни на какую другую работу в Москве его не брали из-за анкеты с «пятым пунктом» и сына в Америке. Мать уже была без работы со времени моей эмиграции — ушла сама, чтобы меня не посадили в отказ из-за ее секретности, и устроиться заново, по тем же анкетным соображениям, тоже уже не могла.

К эмиграции как общественному явлению отец относился положительно: ему нравилось, когда кому-то хватало смелости действовать наперекор режиму. Он никогда не был за границей, даже в соцстранах. Незадолго до моего отъезда отец сказал мне, что раньше мечтал побродить по Парижу, но что теперь ему и этого уже не хочется. Мне было двадцать шесть, и я поверил моему пятидесятилетнему отцу; теперь мне пятьдесят три, и я знаю, что он просто утешал себя. О себе как об эмигранте он тогда еще всерьез не думал; во всяком случае, до моего отъезда такую возможность отрицал. Отец боялся не пережить неизбежной схватки с режимом (докторов наук выпускали с очень большим скрипом) и почти так же боялся оказаться вне родной языковой и культурной среды. Эта среда была для него чрезвычайно важна: герой «Норр-такира», оказавшись вне России всего лишь в подсоветской Армении, болезненно чувствует себя иностранцем!

Мой отъезд вместе с все ухудшающейся обстановкой в стране изменили отношение отца к эмиграции: теперь он

* Детальный анализ этого явления можно найти в воспоминаниях академика РАН Г. И. Абелева «Драматические страницы истории отдела вирусологии и иммунологии опухолей» // Вопросы истории естествознания и техники. 2002. №1–2, <http://vivovoco.nns.ru/VV/JOURNAL/VIET/ABELEV.HTM>

уже хотел уехать, и увольнение послужило последней каплей. Его подталкивала жажда увидеть наконец свои произведения в печати. Директор Института полиомиелита С.Г. Дроздов (директорствующий и по сей день) был в прошлом функционером Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и надеялся туда вернуться. Опасаясь, по-видимому, что я подыму скандал на Западе из-за увольнения отца, который повредит международной карьере Дроздова, он предложил отцу остаться в Институте «временно» на должности младшего научного сотрудника — с условием, что отец подаст документы на эмиграционную визу, и с надеждой, что таким образом он вскоре покинет институт.

Дроздов просчитался: отец и мать получили первый отказ из ОВИРа только почти через два года. Два года, в течение которых он каждый день ходил на службу, где ему не давали никакой работы, кроме самой рутинной, потому что никто не хотел проводить исследования вместе с «политически неблагонадежным» сотрудником. В институте с отцом продолжали разговаривать считанные люди: основатель института Михаил Петрович Чумаков, относившийся к антисемитизму с омерзением и презиравший трусов, многолетняя сотрудница отца Люсия Иосифовна Равкина и еще несколько человек. Отца и вскоре подавших на эмиграцию Равкину и еще одного сотрудника — Григория Львовича Зубри — пересадили в отдельную комнату. Отец называл эту комнату камерой. Телефона в комнате не было, и отец, по словам Л. И. Равкиной, был ужасно оскорблен и угнетен тем, что заведующий лабораторией А. В. Тюфанов, сидевший в комнате с телефоном, перестал звать отца, когда тому звонили.

Второй отказ отец и мать получили через несколько месяцев после повторной подачи документов, с пояснением,

что их выезд «нецелесообразен». Абсурдность всего этого усугублялась тем, что, как выяснилось позднее, относительно недавняя секретность матери была ни при чем, все, по-видимому, упиралось в отцовскую злосчастную степень доктора наук. Недаром писал он докторскую диссертацию без всякой радости!

Незадолго до первого отказа, 7 января 1981 года, отец закончил «Лето в Бадене». К концу повести действие переносится из 1867 года, летом которого супруги Достоевские и были в Бадене, в январь 1881 года, дни последней болезни и смерти писателя. Смерть — в центре многих вещей отца, и это неудивительно, учитывая его профессию и жизненные обстоятельства. Узлы сюжета «Моста через Нерочь» — это смерть бабушки, а затем и отца автора повести, гибель родных под смертным валом 1941 года и ощущение собственной смертности автором, который, глядя на попутчиков в московском метро, неожиданно видит их всех «лежащих в однообразных позах — с руками, сложенными на груди, с головой, брошенной назад, с желтыми, восковидными лицами...». Смерть — в центре рассказов «Тараканы» и «Ave Maria!». Повесть «Норрартакир» проходит под отзвуки смертоубийства на Ближнем Востоке, под гул советских самолетов, везущих туда оружие, чтобы убивать братьев по крови героя повести; он сам накликает на себя беду (эмиграцию сына), играя с чужой смертью: наугад говорит насалившей ему гостиничной администраторше, что у нее рак, и оказывается, к собственному ужасу, прав.

Он описывал смерть с клинической точностью и какой-то отстраненностью, как смерть отца героя повести «Мост через Нерочь»:

...когда он побрил одну щеку, а вторая еще оставалась намыленной, он вдруг услышал голос матери,

обращенный к нему: «У папы остановилось дыхание!» — она сказала это так, как будто сообщала ему, что его к телефону или что суп на столе. Он вбежал в столовую: над изголовьем отца склонились две фигуры — кажется, ординаторы из его клиники — они пытались что-то сделать с отцом — один из них ввел резиновую трубку в рот отца, погружая ее все куда-то глубже и глубже, а другой изо всей силы дул в эту трубку, как будто хотел разжечь потухший самовар. «Ровно двенадцать», — сказала мать, посмотрев на часы отца, и они с сыном ушли из комнаты отца, как уходят с затянувшегося спектакля...

Составитель тысяч протоколов вскрытий, отец много думал о смерти, боялся ее — и описывал со стороны, не пытаясь проникнуть в душу умирающего. В своей последней повести «Лето в Бадене» он такую попытку сделал. Может быть, это было предчувствие: отец вообще не верил, что долго проживет, а оказавшись «в отказе», часто говорил, что так и умрет в СССР. Скорее, по-моему, это был все же новый шаг для отца как для писателя — он переступал через границы собственной личности, своего непосредственного опыта. Этот шаг был и последним — после «Лета в Бадене» отец не успел уже ничего больше написать.

К весне 1982 года бюрократические карты Дроздова легли по-новому. Могу лишь догадываться о мотивах его действий. Знаю, что весной 1982 года стала светить ему должность зама главы ВОЗа — Женева, очень большое (даже по западным понятиям) жалованье; в общем — мечта. В 1979 году увольнять отца совсем показалось Дроздову лишним: как бы на Западе чего не сказали. Но это было до Афганистана, до ссылки Сахарова. А за два года дух изменился: уже пахло андроповщиной, и умный номенклатурщик должен был выказывать непреклонность к врагу без дипломатических

влиятий. Почти никто еще не видел, что непреклонность уже была не что иное, как *rigor mortis* — мертвецкое оостенение режима. Видимо, чтобы обеспечить тылы для последней цекагэбэшной проверки перед желанным назначением, Дроздов и решил, что теперь самое время от отца избавиться. 15 марта Дроздов вызвал отца к себе, усадил, спросил, не дует ли из форточки, и сообщил о немедленном увольнении. Стало не на что жить, не на что надеяться. В этот день я позвонил отцу сказать о начавшейся публикации «Лета в Бадене», узнал о случившемся — и был поражен его голосом. Не было в нем ни нотки раздражения, что для отца в такой ситуации обычно было бы непременно, говорил он со мной тихо и очень ласково, как с маленьким.

Это было в понедельник. На неделе я разговорился о бедах моих родителей с коллегой, хотя и не был с ней особенно близок, и, неожиданно для самого себя, вдруг сказал: «Ты знаешь, я боюсь, что он этого не переживет». А в субботу мне позвонила мать... В этот день отец с утра сел работать: он решил зарабатывать техническими переводами. Мать купила ему на день рождения его вещь, о которой он мечтал, — многоцветную шариковую ручку, наверно, в помощь работе, и пошла готовить любимое блюдо отца на обед. Отец неважно себя почувствовал, прилег, попросил мать (впервые в жизни) вызвать «скорую помощь», успел сказать: «Наташа, мне еще никогда так не было плохо» — и умер.

Последние пять лет его жизни я разговаривал с отцом только по прослушивавшемуся телефону, переписывался через руки цензоров; изредка удавалось отцу послать неподцензурное письмо через надежных людей. Обрывочно я чувствовал, как нарастали его пессимизм по поводу российского будущего, горечь от двусмысленного положения еврея в русской культуре. Это должно было быть очень

больно моему отцу, который еще в 60-е годы ездил фотографировать церкви в Поволжье и любил белоголовых крестьянских детей. В последние три месяца жизни он работал над статьей, начинавшейся с горького признания: «Я не русский философ, не русский писатель и даже не русский интеллигент. Я просто советский еврей...». Основной пафос так и не законченной статьи — безнадежность положения евреев в любой диаспоре, особенно в российской, обреченность их попыток дать что-то приютившей их, волей или неволей, культуре.

Я, конечно, по тем временам не мог приехать на похороны отца: не пустили бы. Отец завещал похоронить себя там, где у него были корни, рядом со своими родителями, в Минске, откуда в молодости он так стремился в Москву. Теперь бы он горько посмеялся: после смерти все-таки оказался за границей! — шутка, вполне достойная шекспировского могильщика. Но не видел и не вижу я для него подходящего места ни на Западе, ни в Израиле: он был соткан из противоречий, страстей и пристрастий своего места и времени, слишком сильно эти место и время чувствовал, точно их запечатлел и принадлежал только им.

Я так и не успел толком попрощаться с отцом перед отъездом. На шумном прощальном сборище родители стояли в молодой толпе одиноко и неудобно, на краю комнаты, на фоне неба, угасавшего в окне над балконом. Я видел профиль отца, чувствовал его молчание и ожидание, но какие серьезные разговоры могли быть в этом гвалте?.. Я должен был забежать к родителям на несколько часов на следующий день, но провел на Шереметьевской таможне почти целые сутки, покуда чиновники отдыхали, досматривали пассажиров более высоких категорий, и, наконец добравшись до меня, решили устроить «пилюлю от ностальгии» с разрезанием

воротничков и т.п. Отца я увидел уже только утром 29 июня 1977 года в Шереметьеве. Говорить было некогда, да и все было переговорено. Мы обнялись, и я почувствовал, что мой отец, в чьих глазах я никогда не видел ни слезинки, с трудом подавляет рыдание. Пройдя через таможеню и поднимаясь по открытой лестнице на второй этаж к паспортному контролю, я увидел на несколько мгновений отца внизу, он глядел на меня пристально и бесслезно. Между нами уже была черта, которую ему так и не пришлось переступить.

* * *

Отец сомневался в своем даре и вряд ли примерял к себе булгаковское «рукописи не горят». В одном из писем он спросил меня, не изменил ли я своего высокого мнения о его прозе, прочитав на Западе запретную в СССР русскую литературу. В душе он, конечно, мечтал о писательском успехе, но не очень-то надеялся на это, не будучи склонен верить в чудеса. Я не утешаю себя, пытаюсь представить, что бы он сказал, если бы узнал, что его роман «Лето в Бадене» издан (или будет издан в ближайшее время) в полутора десятках стран, что о романе и его авторе написала в журнале «Нью Йоркер» Сьюзен Зонтаг, что роман встретил в Америке восторженный прием серьезной критики. Отец не верил ни в наказание, ни в награду после смерти: «Нам нужно видеть расплату, — иначе это уже не расплата», — написал он в «Мосте через Нерочь». Радость держать его книги в руках он оставил мне.

Я хочу поблагодарить (в хронологическом порядке) тех, без чьей помощи книг бы не было.

Моя мать, Наталья Мичникова, взяла на себя почти весь труд по дому — без этого мой отец бы не смог писать по вечерам и выходным.

Моя жена, Лена, организовала переправку значительной части архива отца в 1977 году с помощью Наны Рогинской и сотрудницы австрийского посольства, имени которой, к сожалению, я не помню.

Азарий Мессерер вывез рукопись «Лета в Бадене» из СССР с помощью американских журналистов — Уолтера и Мэри Вишневски. Он же устроил ее публикацию в «Новой газете» — публикацию, которую заметил из Германии издатель Лев Ройтман, усилия которого привели к первой публикации романа на немецком языке, а затем и к первой публикации по-английски. Роджер и Анжела Киз блестяще перевели этот трудный текст. Именно это издание и нашла в букинистическом магазине в Лондоне Сьюзен Зонтаг. Без Азария я бы никогда не узнал, что г-жа Зонтаг прочла «Лето в Бадене» и хочет добиться его издания в США.

Джозеф Финдер и его сестра Сьюзен Финдер вывезли из СССР архив отца после его смерти.

Зара Абдуллаева боролась за издание книги в России несколько лет. Она первой в России написала о моем отце в журнале «Искусство кино»*. Благодаря Заре сборник прозы отца был напечатан маленьким тиражом в 1999 году издательством МХТ, где над ним с любовью работала Анна Анатольевна Ильницкая.

Без вмешательства Сьюзен Зонтаг в литературную судьбу моего отца чуда бы не произошло: не было бы переводов на полтора десятка языков, не было бы рецензий в «Нью-Йорк Таймс» и «Нью-Йорк Ревью оф букс». Чрезвычайно занятая, знаменитая, целый год она действовала как литературный агент давно умершего автора — и добилась публикации английского перевода «Лета в Бадене» в США.

* *Абдуллаева Зара. Фантастический реализм // Искусство кино. 2002. № 3. С. 28—31.*

Андрей Устинов подготовил к публикации текст «Лета в Бадене».

Проза моего отца обрела наконец свое место на полках книжных магазинов в России благодаря усилиям Ирины Дмитриевны Прохоровой и ее коллег по «НЛО».

*Михаил Цыпкин
Пасифик Гроув, Калифорния, США
Ноябрь 1995 г. — апрель 2004 г.*

Десять минут ожидания

Выйдя из метро, я прежде всего смотрю на часы — не на свои, которые всегда идут вперед, и я всячески попустительствую этому, потому что это позволяет мне, поверив в истинность показываемого ими времени, каждый раз испытывать приятное разочарование — еще рано! — не на свои часы, а на электрические, висящие на фонарном столбе, рядом с метро. Двадцать минут девятого. От столба, на котором укреплены часы, начинается очередь на городской автобус. Очередь эта тянется вдоль кромки тротуара, затем поворачивает, преграждая выход из метро, и загибается еще за угол, так что по своей форме она напоминает букву «Г», а выход из метро как раз упирается в горизонтальную планку этой буквы. Я пересекаю эту горизонтальную планку, иду в направлении служебной остановки, но затем в нерешительности останавливаюсь: не поехать ли мне на городском автобусе? Если сейчас стать в хвост очереди, которая кажется пугающе длинной, а на самом деле довольно быстро движется, потому что автобусы подходят каждые две минуты, то через минут пять-шесть можно уехать. В автобусе, если только не стремиться попасть в первый же подошедший, куда пускают всех желающих, после того как все очередники рассядутся, в автобусе всегда можно занять место — иногда даже около окна — и так вот, сидя в тепле, — городские автобусы всегда хорошо отапливаются — доехать до остановки «25-й километр» за несколько минут до прибытия служебного автобуса. Перейдя шоссе и войдя в ворота, каменные столбы которых увенчаны

потрескавшимися стеклянными шарами с полустершейся надписью «ВИДЭ», что должно обозначать сокращенное название нашего института, можно пойти по главной дороге, прорезанной двумя глубокими, покрытыми ледяной коркой колеями — следами служебного автобуса, который въезжает в ворота, а потом выгружает всех на половине пути, потому что дальше начинаются ледяные бугры и колдобины, и, по утверждениям шоферов, у перегруженного автобуса может поломаться ось, пойти не в составе шествия, напоминающего собой не то колонну демонстрантов, не то похоронную процессию, а пойти одному и так дойти до главного корпуса, войти в вестибюль и не торопясь, потому что до девяти часов осталось еще десять минут, не торопясь и подчеркнуто не здороваясь с табельщицей, вынуть из ячейки, помеченной номером 2602, свою карточку, внимательно осмотреть ее с двух сторон — нет ли какого-нибудь подвоха со стороны табельщицы, и пусть она видит, что я ее проверяю, — затем нехотя, как бы между прочим, словно делая одолжение табельщице, заложить карточку в часы, лениво отбить время, небрежно сунуть карточку в ячейку и, окинув презрительным взглядом табельщицу, которая, конечно, почувствовала всю меру своего унижения, хозяйской походкой руководителя учреждения пересечь вестибюль и скрыться в коридоре. Все это, однако, только в теории, а на практике все выходит по-другому, — я это хорошо знаю, потому что несколько раз ездил в городском автобусе. Прежде всего к стоящим впереди примазываются какие-то знакомые, или сослуживцы, или просто чужие, и вид у них при этом такой невозмутимый, словно они всю жизнь простояли здесь, и такие же примазавшиеся толпятся возле входа в автобус и норовят пройти впереди тебя и так проходят, и это еще до того, как все сидячие места

заняты и можно пускать всех желающих. Когда возле автобусной двери рядом с тобой оказывается вот такой примазавшийся, поджидающий только удобной минуты, чтобы проскользнуть, между нами возникает невидимая силовая борьба — мы вроде бы и не толкаем друг друга, но мышцы наши напряжены до предела, как у двух борцов, застывших в неподвижной стойке, и мы даже сквозь пальто чувствуем это враждебное напряжение, эту взаимную испепеляющую ненависть, которая только и поджидает секундной слабости противника, чтобы сломить его и проскользнуть вперед. Иногда мне удается одолеть, и тогда я вхожу в автобус со скромно-торжествующим видом, как чемпион, одержавший очередную победу, а вечером, растираясь после душа, с удовольствием рассматриваю себя в зеркале и поигрываю своими мышцами, которые в этот момент кажутся мне такими же выпуклыми, как на этюдах Леонардо да Винчи или в атласе анатомии, чаще же всего я уступаю, потому что у меня не выдерживают нервы, поскольку поединок возле автобусной двери носит не столько силовой, сколько психологический характер, и когда я чувствую, что не выдержал и уступил, и он протискивается вперед, у меня от ненависти и бессилия начинают перед глазами плыть зеленые круги, и я чувствую себя так, словно мою жену облапили при мне, а я молчаливо снес это, и так как долго жить с этим ощущением невозможно, то я вступаю на путь самообмана и начинаю убеждать себя в том, что он стоял в очереди, а я просто не заметил его и что, может быть, даже это еще я втерся без очереди. Еще большие неприятности подстерегают меня в автобусе. Если свободных мест мало и выбора нет, садись куда попало, не раздумывая, лишь бы занять место, ну а вот если перед тобой оказываются пустые ряды кресел — десять прилавков, заваленных апельсинами, и ни

одного человека в очереди, сбор красивых женщин, и каждую можно пригласить танцевать — то тут даже останавливаешься, задохнувшись от этой неправдоподобной доступности, а главное, от необходимости в короткое мгновение сообразоваться с обстановкой: с какой стороны будет солнце (от него подальше), какая сторона лучше отапливается, занавешена или нет шоферская кабина, чтобы можно было наблюдать за дорогой так, словно сам ведешь машину; при этом нельзя забывать об опасности слишком передних мест (дети, инвалиды и вообще лучше не связываться), а на задних сиденьях слишком жарко и пахнет бензином, а из середины, пожалуй, не выберешься. В общем, я стою, задохнувшись, а меня толкают и обтекают вошедшие позади меня, на моих глазах занимая только что пустовавшие места, — толпа, ворвавшаяся в магазин, и у прилавков уже выстраиваются очереди, курсанты военной академии, нагрянувшие на вечер, и уже все женщины разобраны. А шествие в одиночку по дороге, ведущей к главному корпусу, когда от непривычного одиночества по привычной дороге даже страшно делается и дух захватывает — вдруг часы тебя подвели, и ты опаздываешь, и все смотрят на тебя из окон — словно на тебя наведены невидимые дула — и ты ускоряешь шаг и уже почти бежишь, отступаясь и соскальзывая в колею, покрытую ледяной коркой, и сердце стучит, отдаваясь в ушах, и, только увидев позади догоняющий тебя служебный автобус, немного успокаиваешься, отходишь в сторону, утопая по колено в снегу, чтобы пропустить его, но затем снова почти бежишь, потому что нельзя же окататься в конце колонны или, что еще хуже, позади нее.

И все-таки не поехать ли мне на городском автобусе?

Я стою как раз посередине между остановкой городского автобуса и стоянкой служебного, обвеваемый всеми

четырьмя ветрами, как солдат из поэмы Багрицкого, потому что конечную станцию метро, откуда я только что вышел, построили согласно генеральному плану задолго до начала жилищного строительства, так что над бескрайним заснеженным полем возвышаются только четыре наземных вестибюля станции метро, которые если соединить между собой, то получится огромный прямоугольник, — четыре стеклянных вестибюля, три из которых скорее угадываются, утопая в утренней поземке, — когда-нибудь здесь будет площадь с памятником и универмагом, а пока, когда едешь на автобусе по этому полю, особенно когда автобус набирает скорость, кажется, что это самолет разгоняется по взлетной полосе, — еще минута — оторвешься от земли, и тогда под тобой неожиданно расстелется город, а ведь только что и подумать было невозможно, что где-то существуют дома — одно бескрайнее снежное поле, а дальше по одной стороне дороги навалены какие-то валуны, так что летом, когда между ними проступает сухая бесплодная почва, кажется, что находишься на луне, а по другую сторону дороги виднеются прямоугольные бетонные плиты — наверное, их завезли сюда для строительства — они стоят бесчисленными рядами на некотором расстоянии друг от друга, одинокие и одинаковые, напоминая собой не то город небоскребов, не то еврейское кладбище.

Возле стоянки служебного автобуса еще почти никого нет — благодаря моим часам и постоянному страху опоздать, я всегда прихожу одним из первых — только две-три женщины из технического персонала прячутся от ветра за пивным ларьком с надписью «Русский квас» — его поставили одновременно с открытием станции метро. Одна из них — с раздутой, словно резиновый мяч, головой и с лицом сварливой кухонной бабы, другая — бывшая

пулеметчица, с лицом потаскухи и с втянутыми щеками, на которых, словно на опавшем тесте, пролегли глубокие морщины — еще немного, и лицо ее превратится в печеное яблоко — в автобусе она собирает у сотрудников билетики, делая это по собственному почину, и это так профессионально получается у нее, что первое время, забыв, что я нахожусь в служебном автобусе, я принимал ее за кондуктора, — обе эти женщины приходят первыми или одновременно со мной — обе они уже на расстоянии, по одному лишь виду автобуса, а может быть, по тому, как он едет или поворачивает, безошибочно узнают, кто сегодня за рулем — Миня или Гриня; ворвавшись в автобус первыми и сразу же заняв своими хозяйственными сумками все удобные места для своих приятельниц или для своего непосредственного начальства, они тут же вступают в любовную перебранку с шоферами, смысл которой до меня плохо доходит, потому что у них какие-то свои особые дела и особые счета и, возможно, даже шуры-муры. Я очень удивился, увидев их как-то в рабочей обстановке — куда девалась их автобусная независимость? Однажды вне института я случайно встретился с заместителем нашего директора — куда девалась его начальственность? — он стал делиться со мной какими-то своими соображениями и даже сомнениями и выдал себя: в его глазах я вдруг прочел неуверенность и слабость, обыкновенную слабость, и я подумал, что вечером он, наверное, так же как и я, унижается перед своей женой, чтобы ночью получить от нее то, что полагается, и эту свою откровенность со мной он до сих пор не может простить себе (а может быть, и мне) и теперь проходит мимо меня по коридору так, словно у него сифилис и об этом знаю лишь я один.

Я стою посередине между двумя остановками автобуса, городского и служебного, чтобы показать свою непричаст-

ность к младшему персоналу, — женщины, прятавшиеся за пивным ларьком, перешли теперь к служебной стоянке, и к ним добавилось еще пополнение, и все они толпятся на маленьком утоптанном пространстве — и, кроме того, эта моя позиция позволяет мне тешить себя мыслью, что я, может быть, все-таки уеду на городском транспорте, тем более что очередь там сильно приуменьшилась и хвост ее сократился, открыв выход из метро, откуда по направлению к служебной стоянке унылой вереницей тянутся сотрудники, вливаясь в группу ожидающих, словно ручеек чернил в кляксу. Мимо меня проходят две молоденькие лаборантки.

Одна из них, коротышка, почти школьница, в мини-шубке, открывающей стройные ножки, обутые в малиновые сапожки со шнуровочкой, увенчанной кокетливой завязочкой, — повиснув на руке своей более высокой подружки, она напоминает цирковую собачку с бантиками и колокольчиками, идущую на задних лапках, а передними опирающуюся на палочку дрессировщика. Из метро показывается Витюшкин. Маленький, тщедушный, с длинным крюковатым носом, он похож на только что вылупившегося птенца, особенно когда он мелкими шажками, словно из мультипликации, семенит по институтскому коридору, выворачивая наружу ступни — он страдает плоскостопием, — и над его лысиной развевается серовато-желтый пушок, а в руках он держит лоток с куриными яйцами — объектом своих экспериментальных исследований; скрывшись в лаборатории, он надолго исчезает там — наверное, долбит яйца своим клювиком, предварительно просмотрев их на свет. По странному контрасту с его фигурой у него насмешливое и даже ехидное выражение лица, которое, впрочем, исчезает, как только речь заходит о научной работе; лицо его тогда становится серьезным и даже глубокоторжественным,

словно он присутствует при исполнении государственного гимна, — любое шутивное замечание, брошенное в этот момент, заранее отмечается им, хотя и проглатывается — секундным усталым закрытием век, — мол, все понял, оценил, но, боже мой, как это неуместно, — и мне кажется, что он точно так же прикрыл бы глаза, если бы его ударили по физиономии. Вслед за ним появляется Гаузе. Он в два раза выше Витюшкина, и взгляд его полон грусти, но грусть эта мнимая, потому что взгляд у него бараний и лоб у него бараний, и мне всегда кажется, что он подойдет ко мне, положит голову на плечо и попросит дать ему пожевать сухой прошлогодней травы. Они неразлучны с Витюшкиным: вместе работают и вместе носятся по коридору с куриными яйцами в руках — при этом Гаузе умеряет свои аршинные шаги, чтобы не слишком опередить Витюшкина, — а ровно в половине второго в дверь комнаты, где я сижу, раздается короткий, но напористый стук — по нему можно проверять часы — это Витюшкин и Гаузе приглашают меня в буфет, и хотя я почти всегда отказываюсь, они делают это с завидной настойчивостью вот уже несколько лет — две головы, одна — птичья, на уровне дверной ручки, другая — баранья, под самым косяком, а туловище у них общее, но его не видно, потому что оно остается за дверью. А вот и супруги Митрохины. Он — жирный, с не очень чистыми ногтями, она — высокая, сухая, с длинным лицом, перекошенным не то от удивления, не то от ужаса. Он идет чуть позади, неся ее хозяйственную сумку, — словно Санчо Панса за Дон Кихотом. В автобусе они всегда читают газеты, целую кипу газет, которые они достают из хозяйственной сумки, разбирая их и обмениваясь ими с молчаливой деловитостью профессиональных картежников.

Двадцать восемь минут девятого, и толпа ожидающих у служебной остановки уже не клякса, а расплывшееся по краям чернильное пятно, но я этого не вижу, потому что стою сам среди этой толпы, стою ближе к краю, там, где пятно сходит на нет, — правда, ветер здесь посильнее и снег неутоптанный, но зато здесь вернее — по моим расчетам, именно здесь должна оказаться передняя дверь автобуса — впрочем, я могу и прогадать, потому что один водитель открывает только переднюю дверь, а другой — только заднюю, а какой из них приедет — неизвестно, но даже если приедет с передней дверью, мне все равно вряд ли удастся захватить место, потому что народу набралось много и все сразу хлынут, а вообще-то, автобусу уже давно пора быть, и все с надеждой вглядываются в заснеженную даль, и даже кухонная баба и бывшая пулеметчица несколько раз обманываются, приняв обычный автобус за служебный и попусту выкрикивая то «Миня!», то «Гриня!», но в общем-то все молчат и не возмущаются, хотя ясно, что в гараже вчера была очередная попойка, и если нужно будет, они будут вот так стоять до самого вечера, спрятавшись в воротник, повернувшись спиной к ветру — скульптурная группа «Ожидание», памятник покорности, но ведь и я тоже молчу. А хвост возле остановки городского автобуса совсем сократился и на моих глазах с катастрофической быстротой становится все короче, поглощаясь только что подошедшим автобусом, словно сантиметровая лента рулеткой.

— Ну его к черту: лучше на городской, — неожиданно для себя говорю я, ни к кому не обращаясь, и осторожно выбираюсь из толпы, и чем дальше я отхожу, тем решительнее и быстрее становятся мои шаги, и вот я уже почти бегу, и из толпы следом за мной с возгласом «Пошли к городскому!» устремляется несколько человек, а вслед за

ними еще и еще, и среди них Гаузе с Витюшкиным, который еле поспевает за своим длинным приятелем, и коротышка в мини-шубке, и супруги Митрохины, и все они улыбаются мне, и лица их светятся азартом и решимостью. Оглядываясь, я машу им, подбадриваю их: «Быстрее! быстрее!», и это звучит как «Ура!», как «Вперед, за мной!», и я чувствую себя атаманом, вождем, командиром, — ведь это я поднял их, и вместе с тем все мы равны, потому что идем в одной цепи, и у нас общая судьба, и каждый из нас готов умереть за другого. Задыхаясь, с разбега я становлюсь в хвост очереди, а следом за мной послушно, как вагоны за остановившимся паровозом, выстраиваются остальные. Теперь мне кажется, что очередь движется слишком медленно — вдруг автобус уйдет, не захватив всех? — какими я тогда глазами буду смотреть на них? — ведь это я их поднял. Вот уже совсем близко до двери, и я с гордостью успеваю заметить, что в автобусе есть еще свободные места — не зря я привел их сюда! Я заносу ногу на подножку и победно оглядываюсь, но с удивлением и ужасом вижу за собой незнакомые, чужие лица — такое бывает только во сне — а по снежному полю, растянувшись цепочкой, бегут те, кто только что стоял за моей спиной, — Витюшкин — он еле поспевает за Гаузе, коротышка в мини-шубке, супруги Митрохины — все они бегут, пригнувшись, втянув головы в плечи, словно боясь, что их настигнет пуля, бегут к служебной остановке, где виднеется автобус с толпой, чернеющей возле его двери. А на меня надвигаются незнакомые, чужие лица, черты их становятся все крупнее — на коже их я уже различаю угри, и глаза у них шальные — наверное, я мешаю им пройти — и я соскакиваю с подножки и бегу по заснеженному полю — успеть бы! догнать бы! — уже не атаман, не вождь, не командир, а отставший солдат.

Я стою, зажатый между телами сотрудников, раскачиваясь в такт с ними. За окном расстилается снежное поле, мимо меня проплывают стеклянный вестибюль станции метро, фонарный столб с часами, очередь. Автобус объезжает центральную часть поля, разворачивается и, на секунду остановившись, быстро набирает скорость, словно самолет, вырвавшийся на взлетную полосу. Впереди приближаются покрытые снегом валуны, а слева по ходу автобуса уже мелькают прямоугольные бетонные плиты — не то город небоскребов, не то еврейское кладбище. Может быть, он все-таки оторвется от земли?

31 марта 1971 г.